

А. ТУН

И

отс.

8310

У ФИЛИАЛ

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ

Перевод **Веры Засулич, Д. Кольцова** и др.

С воспоминаниями об А. Туне **Л. Дейча**, предисловием
Г. Плеханова, статьей „О социальной демократии в России“
Г. Плеханова и примечаниями **П. Лаврова**.

ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

Дом Плеханова

96

О социальной демократии в России.

Письмо к польским издателям «Истории революционных движений в России» А. Туна.

Товарищи!

Вы сделали мне лестное предложение изложить в особой дополнительной главе к книге Туна взгляды и стремления русских социал-демократов. Я очень рад сделать это, так как считаю, что нам давно уже пора объясниться с нашими братьями, польскими социалистами.

Но мы не представляем собою революционной секты с программой, выросшей из какого-нибудь особого утопического принципа. Наши нынешние взгляды и стремления представляют собою органический продукт истории русского революционного движения. Вот почему я должен в своем очерке отвести значительное место оценке этой истории.

Впрочем, не пугайтесь: мои исторические воспоминания не пойдут дальше семидесятых годов XIX века, к которым приурочивается массовое революционное движение так называемой у нас интеллигенции.

В начале этого замечательного десятилетия в нашей революционной среде преобладали два направления: одно из них связывается с именем *П. Л. Лаврова*, другое с именем покойного *М. А. Бакунина*. Судьба этих двух направлений была далеко не одинакова!

П. Л. Лавров несомненно достоин всякого уважения, как человек, связавший с революционным делом все свои симпатии и антипатии, посвятивший ему все свои обширные, разносторонние знания. Но он был и навсегда останется *эклектиком*. В его мирозерцании всегда уживались самые разнородные, даже прямо противоречивые

элементы. Это замечала и не раз указывала еще редакция «Современника». Чернышевский зло подсмеивался над философскими произведениями Петра Лавровича; Антонович подвергал их резкой критике. До конца шестидесятых годов никому и в голову не приходило видеть в энциклопедически-образованном полковнике действительного или хотя бы только возможного вождя «молодого поколения». Появление «Исторических Писем» значительно изменило дело. Они имели почти такой же успех, как самые значительные сочинения автора «Что делать?»—П. Л. Лавров приобрел огромную популярность. Наша передовая молодежь с удовольствием, не чуждым удивления, увидела в нем революционера. И когда, по прошествии нескольких лет, он, бежав из ссылки за границу, приступил к изданию периодического издания «Вперед!», у него между молодыми революционерами было не мало верных друзей и горячих последователей.

В литературном отношении «Исторические Письма» совершенно чужды крупных достоинств. Даже более; очень заметные в них усилия автора отделаться от свойственной ему сухости, тяжеловесности и неуклюжести изложения производят тяжелое впечатление чего-то совершенно неестественного: точно слон старается протанцовать на канате. Что же касается содержания, то я уже сказал, что П. Л. Лавров — эклектик. В его исторических взглядах, как в земной коре, при вертикальном ее разрезе, замечается целый ряд постепенно образовавшихся наслоений. На них оставила свой неизгладимый след каждая из сколько-нибудь значительных философских школ, сменявших одна другую в процессе умственного развития западной Европы. Наиболее сильное влияние имели на них, *comme de raison*, немецкие философы до Бруна Бауера и Макса Штирнера включительно. В качестве добросовестного читателя П. Л. Лавров ознакомился со всеми сколько-нибудь выдающимися мыслителями Германии; в качестве эклектика он не согласился вполне ни с одним из них, но зато ни одного из них целиком не отвергнул. У каждого нашел он частицу истины и заботливо перенес ее в пестрое здание своих собственных взглядов. Но странное дело! В приготовленной таким образом механической смеси частиц различных систем каждая отдельная частица занимает тем больше места, чем меньше ценности имеет философия истории того мыслителя, у которого она взята. Этот закон

обратной пропорциональности господствует в «Исторических Письмах» с неумолимостью закона природы. Так, например, Шеллинг и Гегель совсем стусевываются, между тем как Кант не перестает смущать автора своим учением о вещи в себе (*Ding an sich*), а Бруно Бауер совершенно явственным шопотом подсказывает ему свою, как любят выражаться у нас, формулу истории. Эта формула очень проста. У П. Л. Лаврова она принимает такой вид: сущность исторического процесса заключается в переработке культуры критически-мыслящими личностями. У Бруно Бауера «культура» носила название «*Wirklichkeit*» или «*das Positive*», а «критическая мысль» называлась «*Kritischer Geist*» или «*Selbstbewusstsein*». Но это ничтожное различие в терминологии несколько не изменяет дела.

Взгляды братьев Бауеров были реакцией против гегелевского идеализма. Как ни законна была эта реакция, она осталась крайне поверхностной и легковесной. Развитие «самосознания» служило братьям Бауерам ключом к объяснению всей истории. Совершенно упуская из виду, что это развитие само было неизбежным следствием причин, не зависевших от воли людей и лежавших вне области «самосознания», Бауеры становились в философии истории на точку зрения несравненно более идеалистическую, чем была точка зрения абсолютного идеалиста Гегеля, который уже прекрасно понимал и очень хорошо выяснил, что развитие человеческого самосознания имеет свои глубокие причины, от самосознания не зависящие.

Нам нет надобности рассматривать здесь, почему радикальная реакция против Гегеля явилась в Германии на первых порах в виде крайне поверхностного идеализма. Достаточно сказать, что там дело очень скоро приняло другой оборот. Уже в своей книге «*Die heilige Familie oder Kritik der Kritischen Kritik*» Маркс и Энгельс показали полную несостоятельность Бауеровских взглядов. К концу сороковых годов основные положения нового диалектического материализма были в главных чертах выработаны и легли в «Манифесте Коммунистической Партии» в основу практической программы революционного пролетариата. С тех пор передовая мысль западной Европы навсегда распространилась со всеми видами и разновидностями идеализма. Этот период возникновения, разработки и пропаганды нового материалистического мирозерцания

является едва ли не самой интересной в теоретическом отношении и уж несомненно самой важной по своим практическим последствиям эпохой в истории философии. Но именно этот-то период и был совершенно неизвестен П. Л. Лаврову в то время, когда он писал свои «Исторические Письма». Он знал все, что было до Маркса, но не имел никакого понятия о Марксе. Он усвоил, насколько это возможно для эклектического ума, «последнее слово» до-марксовской радикальной философии со всей теоретической бедностью, со всей научной бессодержательностью этого «слова», и стал строить на фундаменте, который к концу шестидесятых годов представлял собою, благодаря работам Маркса и Энгельса, уже одну развалину. При этом он внес и собственную мысль в план возводимой им постройки. Так, он изобрел, не без позаимствований у Огюста Конта, быстро прославившийся у нас субъективный метод в социологии, который не имеет уже ровно ничего общего с научным мышлением¹⁾, возводя в систему утопический взгляд на общественную жизнь. Субъективная российская «социология» совершенно разошлась с западно-европейским научным социализмом. Когда П. Л. Лавров ознакомился с теориями Маркса, он вообразил, что поправил дело, почтительно признав автора «Капитала» своим «великим учителем». Само собою разумеется, что такое признание ровно ничего не поправляло и не могло поправить.

¹⁾ Задача науки, поскольку она имеет дело с субъектом, заключается именно в том, чтобы объяснить его посредством объекта. Забывать об этом значит совершать смертный грех против науки. Но этого мало. Однажды в разговоре с Экерманом Гёте заметил: «Все эпохи упадка субъективны, и, наоборот, все прогрессивные эпохи имеют объективное направление. Наше время ретроградно и потому субъективно». Не касаясь здесь вопроса о том, в какой мере это общее правило допускает исключения, мы заметим, что русская передовая общественная мысль тем более склонялась к объективизму, чем богаче она была революционным содержанием; и наоборот: она становилась тем более субъективной, чем беднее ее революционное содержание. Чернышевский и Добролюбов были очень далеки от субъективизма. Теперь за субъективный метод хватаются у нас так называющие себя социалисты-революционеры. Но «социалисты-революционеры» — настоящие реакционеры в русском социализме, и о них не даром сказано, что они носят двойное название единственно потому, что их социализм не революционен, а их революционность не имеет ничего общего с социализмом.

Прим. к русск. изданию.

В настоящее время многие русские «социологи» придерживаются «субъективного» метода и стоят за него горой. Но та молодежь, которая с восторгом приветствовала появление «Исторических Писем», очень мало заботилась о социологических методах. Она увлекалась мыслью П. Л. Лаврова относительно долга образованных классов народу. Эта мысль давала теоретическое выражение ее практическому стремлению увлечь за собою народ в революционную борьбу с правительством.

Тун рассказывает, через какие колебания прошел автор «Писем» при выработке программы «вперед!». Я, с своей стороны, замечу, что та программа, которая была, наконец, им принята, ни мало не противоречила точке зрения «Исторических Писем». Критически-мыслящие личности обязаны перерабатывать культуру. Под эту формулу, чуждую самонадеянности атома конкретности, очень хорошо может подойти, например, мирная деятельность представителей нашего земского или городского самоуправления. Но под нее с удобством подходит и деятельность революционера. Программа «Вперед!» наполняла ее революционным содержанием, которое было, однако, в свою очередь, до последней крайности отвлеченно¹⁾. Перерабатывать культуру критической мыслью значило теперь заниматься пропагандой социализма. Но в представлении редактора «Вперед!» и его последователей эта деятельность немедленно приняла совершенно утопический характер. Западно-евро-

¹⁾ В доказательство приведем чрезвычайно характерный отрывок из передовой статьи № 34 «Вперед». П. Л. Лавров описывает, как представляется ему будущий ход революционного движения в России. «Допустим, — говорит он, — что 100 убежденных личностей из молодежи образуют первый кадр социально-революционного союза, что каждый год из этой молодежи приступают к нему новые лица в том же числе, при чем лишь половина из поступивших оказывается годна для действия в народе. Допустим, как выше, что из действующих в народе в конце каждого двух лет остается целой лишь одна четверть, а число лиц, не участвующих в пропаганде, остается неизменно 50 человек. Допустим, что каждый пропагандист из интеллигенции приобретает в 2 года четырех товарищей из народа, а каждый пропагандист из народа в тот же период — втрое более. Допустим, наконец, что одна четверть членов союза из народа гибнет в продолжение 2-х лет. При этих предположениях сделаем расчет, как велик оказался бы состав социально-революционного союза при разумной и целесообразной деятельности его членов после 2, 4 и 6 лет».

пейские социалисты ведут свою пропаганду, опираясь на неотвратимый ход экономического развития буржуазного общества. В нем видят они ручательство за удачный исход революционных усилий. П. Л. Лавров был как нельзя более далек от такого взгляда. С его «субъективной» точки зрения, за успех социалистов ручались отвлеченное превосходство их «идеала» и не менее отвлеченная справедливость их требований. Действительное положение трудящейся массы принималось им в соображение лишь с одной стороны: со

«Мы получим следующие цифры:

Из интеллигенции:	Вначале.	Через 2 года.	Через 4 года.	Через 6 лет.
Вступающих	100	100	100	100
Непропагандистов	50	50	50	50
Пропагандистов	50	50	50	50
Остал. пропагандистов	—	12	15	16
Всего пропагандистов	50	62	65	66
Всего	100	112	115	116

Из народа:	Вначале.	Через 2 года.	Через 4 года.	Через 6 лет.
Привлеченных интеллигенцией.	—	200	248	260
Привл. народн. пропаг.	—	—	2400	33576
Осталось	—	—	150	2098
Всего	—	200	2798	35934

Численность социально-революционного союза:	Вначале.	Через 2 года.	Через 4 года.	Через 6 лет.
Численность социально-революционного союза:	100	312	2913	36050

«Я принимаю, что при надлежащей организации и при разумном действии потеря не должна быть столь значительною, как здесь предположено (она и не была такова при деятельности, далеко не удовлетворявшей этим условиям), но допущу, что пропаганда даст, почему бы то ни было, *втрое* менее выгодные результаты, так что после 6 лет социально-революционный союз будет состоять лишь из 10000 человек, которые усвоили простые начала: *отрицания монопольной собственности, обязательности всеобщего труда для всеобщего развития и обязательности всеобщей солидарности рабочих-социалистов* в их свободной группировке, т.-е. из 10000 таких, которые способны подчинить всю свою деятельность при подготовке революции и после ее совершения этим трем началам. Прибавим, что около этих 10000 *понимающих* находится несравненно обширнейшее число *сочувствующих практическим требованиям* социальной революции, т.-е. насильственному устранению чиновничества и собственников с передачею всей власти и всего имущества в руки народа, хотя при этом понятия о солидарности

стороны ее бедности, со стороны ее эксплуатации государством и имущими классами. Утописту кажется совершенно ясным, что чем более страдает народная масса, тем более она должна обнаруживать склонности к усвоению социализма. Он и не подозревает, что способы производства продуктов и их обмена, существующие в данной стране в данное время, имеют решающее значение для ее дальнейшего социального развития. «Вперед!» не шел дальше весьма неопределенного утопического социализма, и вот почему он, беспрестанно крича о нищете и о вырождении русского народа, не считал нужным взяться за серьезное изучение *экономики России*.

Народная нищета должна была, конечно, иметь в глазах главного редактора этого журнала и свою обратную сторону: *задавленность* трудящейся массы, ее *невежество*. Но этому горю обязана была пособить «критическая мысль» революционеров. Чем меньше знаний у народа, тем больше нужно их пропагандистам. «Вперед!» требовал от этих последних чуть ли не энциклопедического образования. Образование, без всякого сомнения, есть великая вещь. Это прекрасно понимает западный пролетариат. «Знание есть сила; сила есть знание», — охотно повторял Либкнехт. Но вожаки западного пролетариата пользуются своими знаниями для определения объективного хода общественного развития и для выяснения его смысла массе. Знания помогают западным социалистам ориентироваться в этом ходе, находить материальные, экономические условия, ведущие к социальной революции. П. Л. Лавров отводил знаниям совсем другую роль. Запас знаний, имеющийся в распоряжении данного пропагандиста, представлялся ему лишь в виде известного количества *доводов против нынешнего порядка вещей и в пользу социалистического общественного*

всех рабочих, о необходимости всеобщего труда и устранения всякой отдельной собственности, наконец, о свободной группировке личностей были бы далеко не ясны этим многочисленным приверженцам социальной революции. Если мы представим себе после небольшого периода 6 лет 10000 сознательных руководителей народного движения, которые сгруппированы в пяти территориях, наиболее восприимчивых для пропаганды, примерно по 2000 в каждой, и окружены *несравненно большим* числом лиц, готовых каждую минуту идти за ними, чтобы свалить представителей власти и капитала,—то перед нами такая почтенная *революционная армия*, которая в определенную минуту может действительно совершить историческое дело».

Прим. к русск. изданию.

устройства. Когда наша революционная молодежь восстала против лавровской проповеди знания, она была вовсе не так неправа, как это кажется, например, Туну. П. Л. Лавров обвинял ее тогда в невежестве, почти в вандализме. Но невежество ее сказалось только в том, что она, — инстинктивно сознавая, что вопрос поставлен Лавровым неправильно, — не умела определить, в чем же заключается правильная его постановка.

Вся дальнейшая история мира сводилась для социалистов-утопистов, по выражению «Манифеста Коммунистической Партии», к распространению их нового евангелия. К тому же сводилась вся дальнейшая история России в глазах наших лавристов. В их утопическом поле зрения не было места для вопросов политической борьбы. Политическая борьба казалась им вредной для интересов социализма: «Вперед!» твердо держался утопического противопоставления «социализма» «политике». А так как его сторонники к тому же были против всякого рода агитационной деятельности, которая представлялась им вредным отвлечением сил от единоспасающей пропаганды «социализма», то скоро они сделали революционерами только по имени. Они составили из себя довольно высокомерную общину сектантов, упорно и монотонно осуждавших все то, что заставляло сильнее биться сердце тогдашнего «радикала»: студенческие волнения, рабочие стачки, манифестации, сочувственные политическим «преступникам», массовые протесты против безобразий администрации и т. п. и т. п. Это очень раздражило тогдашнюю революционную молодежь; популярность автора «Исторических Писем» быстро падала. Одна из политических карикатур того времени изображала его едущим верхом на раке и держащим в руке знамя с надписью: «Вперед!», которая была в глаза, как едкая ирония. «Лавризм» с каждым годом, с каждым месяцем терял свое влияние. Некоторые из его приверженцев постепенно превратились в мирных носителей российского прогресса; другие, более активные, сбрасывали с себя давившее их иго «критического» доктринерства и переходили в другие фракции.

В половине семидесятых годов влияние бакунизма было у нас уже несравненно сильнее влияния журнала «Вперед!». Нам нет здесь дела до того, какую роль играл Бакунин на Западе, и какой вид приняло там его учение. Что касается России, то бакунизм скоро сделался у нас чем-то в роде анархического славянофильства. Давно

уже было сказано, что *habent sua fata libelli*. Общественно-политические теории тоже имеют свою судьбу, подчас очень странную. Сочувствие к социально-революционным движениям Запада зародилось и окрепло у нас в западническом лагере. Славянофилы видели в них лишь признак «гниения» старой Европы. Они всегда с большим удовольствием противопоставляли им то «смирение» и ту «преданность престолу», которые, по их мнению, составляли отличительную черту русского «народного духа». Вот почему, в устах всякого революционно- или хотя бы только оппозиционно-настроенного русского, — название славянофил скоро сделалось обидным, почти бранным названием. Но с другой стороны, чем ближе подвигаемся мы к семидесятым годам, времени расцвета нашего революционного движения, тем заметнее становится влияние славянофильства на развитие наших революционных идей. Эта кажущаяся странность объясняется очень просто.

Европеизация Московской Руси началась сверху, волею первого русского императора, так как необходимость ее сказалась прежде и сильнее всего в области государственной самозащиты и государственного управления. Долгое время она не переходила за границы этой области. Весь «народ», вся огромная масса русского крестьянства и большая часть так называемого у нас купеческого сословия продолжали жить так, как жили они в доброе старое время. По отношению к непривилегированному сословию петровская реформа повела за собой прежде всего страшный рост государственных податей и повинностей, грозивших окончательно задавить его под своим бременем. Крестьянин протестовал, как мог и как умел, вооружаясь иногда вилами и топором, иногда осьмиконечным крестом и старопечатной раскольничьей книгой. Но и в том и в другом случае его протест ни по форме, ни по содержанию не мог быть привлекателен для русского западника чистой воды. Наши западники сороковых годов XIX века, глубоко и горячо сочувствуя страданиям угнетенного и обездоленного народа, не видели в нем никаких задатков самостоятельного прогрессивного движения. Удачный исход крестьянского восстания, вроде того, которое совершилось в XVIII столетии под предводительством Пугачева, равносильно был бы в их глазах гибели всего насаженного в России Петром Первым. Прибавьте к этому, что по мере усовершенствования государственной организации крестьянские бунты

становились все разрозненнее и безнадежнее, и вы поймете, почему, например, у *Белинского*, при всей ненависти его к современной ему «деятельности», ни на минуту не возникла надежда на то, что народ сумеет освободить и просветить себя своими собственными усилиями ¹⁾. Совсем незадолго до появления его знаменитого, полного революционного жара, письма к Гоголю, наш гениальный критик, страстно сочувствовавший тогда западному социализму, с убеждением говорит в одной из своих статей, что все прогрессивное может идти у нас *только сверху*. Это было очень последовательно, но за то как это было безнадежно! Ведь Белинский высказывал это убеждение в царствование Николая I — тупого, фанатичного врага всякого поступательного движения!

Начало царствования Александра II, этого Манилова на престоле, как будто подтверждало западнический вывод относительно прогрессивной исторической роли русской правительственной власти. Сам Чернышевский, повидимому, много ожидал от правильного понимания царизмом своих «интересов». Но уже к концу 50-х годов обнаружилась несостоятельность подобных ожиданий, и тем из сторонников «прогресса», которые не могли и не хотели сидеть сложа руки, оставалось рассчитывать только на

¹⁾ Этот взгляд на народ получил чрезвычайно яркое выражение в стихотворном «отрывке» Н. А. Некрасова, относящемся к 1858 году:

Ночь. Успели мы всем насладиться.
 Что ж нам делать? Не хочется спать.
 Мы теперь бы готовы молиться,
 Но не знаем, чего пожелать.
 Пожелаем тому доброй ночи,
 Кто все терпит во имя Христа,
 Чьи не плачут суровые очи,
 Чьи не ропщут немые уста,
 Чьи работают грубые руки,
 Предоставив почтительно нам
 Погружаться в искусства, в науки,
 Предаваться мечтам и страстям;
 Кто бредет по житейской дороге
 В безрассветной, глубокой ночи,
 Без понятий о праве, о боге,
 Как в подземной тюрьме без свечи...

Прим. к русск. изданию.

революцию. Но для революции нужны силы. Где могли и где должны были искать их тогдашние русские революционеры?

При том взгляде на народ, который господствовал в кружках наших западников 40-х годов, всякие расчеты на него, как на революционную силу, являлись нелепой фантазией. Но в шестидесятых годах взгляд этот должен был значительно поколебаться уже в силу того простого обстоятельства, что уничтожение крепостного права вызвало в крестьянстве значительное возбуждение. Широкое, повсеместное восстание бывших крепостных, не удовлетворенных в своих ожиданиях «настоящей воли», одинаково казалось теперь возможным как правительству, так и революционному «молодому поколению», т.-е. тому общественному слою, который впоследствии скромно назвал себя «интеллигенцией». Что же касалось окончательного результата удачного всенародного восстания, то «молодое поколение», вследствие зародившейся в нем жажды революционной борьбы, должно было рисовать его в своей фантазии совсем не так, как рисовался он в воображении западников. Трудно ли поверить в благие последствия революции тому, у кого все надежды сводятся именно к революции? К услугам революционной молодежи как нельзя более кстати явилась та идеализация старых, веками завещанных нам форм народного быта, которая играла такую видную роль в произведениях славянофилов. Западники ровно ничего не ожидали от народной самодеятельности; славянофилы говорили, что в народе кроются богатые задатки самодеятельного «гармоничного» развития ¹⁾. Революционная молодежь конца 60-х и начала 70-х годов прошлого столетия вполне согласилась в этом случае со славянофилами, приняв как догмат, что «гармоническое развитие» пойдет в сторону социализма, и дополнив веру в «самобытные задатки» этого развития верой в прогрессивное воздействие революционной интеллигенции.

¹⁾ Ю. Самарин, указывая на то, что западный мир выставляет теперь (т.-е. в сороковых годах) «требование общины» (т.-е. социализма), прибавлял, что это требование «совпадает с нашей субстанцией» и что «в оправдание формулы мы приносим быт». В этом он видел точку соприкосновения нашей истории с западной (см. Пыпина: «Характеристика литературных мнений», стр. 298). В этом взгляде Самарина заключается *ap sich* почти все русское народничество.

Прим. к русск. изданию.

Таким образом старый спор был, казалось, окончен, роковой вопрос решен—и «сверху», со стороны «интеллигенции», и «снизу», со стороны народа, ничего не предвиделось, кроме «прогресса», и мы чрезвычайно быстро пошли по пути. . . славянофильской переделки западно-европейского утопического социализма. Восторженно чтя память Белинского, мы усвоили себе тот самый взгляд на общественную жизнь, который так часто будил его полемическую страсть и который казался ему *верхом непоследовательности, торжеством обскурантизма*.

Чернышевский сблизился со славянофильской школой в своем взгляде на общину; Щапов пошел в этом направлении несравненно дальше Чернышевского, а Бакунин был убежден, что в русском народе находятся на лицо в самых широких размерах те «элементы», которые являются необходимыми условиями социальной революции. Победить своих врагов народу мешает недостаток сплоченности и организации, а не отсутствие «общего идеала», который «был бы способен осмыслить народную революцию, дать ей определенную цель». Такой общий идеал, по мнению Бакунина, существует, «и нет даже необходимости далеко углубляться в историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные черты». Важнейшей чертой народного идеала оказывается «убеждение в том, что земля, вся земля принадлежит народу, орошающему ее своим потом, оплодотворяющему ее своим трудом»; вторая черта — приверженность к общинному землевладению; третья, «одинаковой важности с двумя предыдущими, это квази-абсолютная автономия, общинное самоуправление и, вследствие того, решительно враждебное отношение к государству»¹⁾.

«Углубляясь в историческое сознание нашего народа», славянофилы находили, что народный идеал был в значительной степени осуществлен в нашем старом, допетровском государстве. Щапов и Бакунин видели в государстве *отрицание* народного идеала, *посягательство на самоуправление общин* и на свободную федерацию этих общин «снизу вверх». Таким образом центр тяжести идеализации «исторического сознания нашего народа» частью переносился в древнейший, домосковский период, частью приурочивался к народным протестам против непрерывного роста податей и повинностей.

¹⁾ «Государственность и анархия», примечание А, стр. 7—10.

шедшего рука об руку с развитием и упрочением государства¹⁾. Русские народники, ближайшие потомки русских бакунистов, казались И. С. Аксакову непоследовательными, сбившимися с прямого пути, славянофилами. С своей стороны народники могли упрекнуть славянофилов в том, что они, «углубляясь в историческое сознание нашего народа», останавливались на полдороге и идеализировали такие черты общественных отношений Московской Руси, в которых сам народ не видел ровно ничего идеального.

Как бы там ни было, указывая на отсутствие сплоченности и организации в народе, Бакунин тем самым определял задачу революционной интеллигенции: объединить народные протесты, придать им стройный организованный вид. Эту задачу и старались всеми силами разрешить все наши революционеры половины семидесятых годов, находившиеся под влиянием бакунинских воззрений.

Бакунизм—это тоже доктринёрство, тем более крайнее и упрямое в своих выводах, чем глубже презирал доктринёров его основатель. Ни одно из положений Бакунина не могло бы выдержать самого легкого прикосновения научной критики. Но в бакунизме была одна сильная сторона, спасшая его сторонников от застоя. Этой сильной стороной являлось *пристрастие к «агитации»*, к «бунтам». Какими нелепыми доводами защищали «бунты» некоторые из русских бакунистов, могла бы показать ходившая в конце семидесятых годов из кружка в кружок рукописная брошюра покойного Каблицы: «Мысли революционера». Основное положение ее заключалось в том, что так как ум всегда повинуется чувству, а чувство воспитывается упражнением; так как кроме того бунты воспитывают в народе *чувство протеста*, то они гораздо скорее, чем пропаганда, подготовят его к социальной революции. Народники (общество «Земля и Воля») подсмеивались над этой брошюрой, автор которой никогда не считался дельным революционером. Но это не мешало им видеть в бунтах лучшее воспитательное средство для народной массы. Они сами бредили «агитацией», они сами всюду искали «бунтов», а именно это обстоятельство рано или поздно должно было эмансипировать их от бакунизма.

¹⁾ И. С. Аксаков третировал Разина и Пугачева, как *разбойников*; М. А. Бакунин считал разбойников *инстинктивными революционерами*.

«Несмотря на недостаток в нем сплоченности и организации, наш народ беспрерывно протестовал против гнета государства и высших сословий. Он и до сих пор с ним не помирился. И до сих пор то здесь, то там постоянно волнуются крестьяне. Мы должны пользоваться этими волнениями, мы должны расширять и организовывать их». Так говорили бунтари-народники, и уже с конца 1876 г. общество «*Земля и Воля*», в программу которого вошли все основные положения бакунизма, стало заводить прочные «*поселения в народе*», постепенно распространившиеся по всему среднему и нижнему Поволжью, на Дону, в Воронежской и Тамбовской губерниях. Дело шло, пожалуй, очень недурно: поселенцы нередко становились влиятельными людьми в деревне. Но от этого мало выигрывало «*святое дело бунта*», как выражался Бакунин. Идя «*в народ*», бунтарь помнил преимущественно то, что в России ежегодно происходит не мало столкновений крестьян с помещиками и администрацией. Это была, так сказать, *качественная* сторона дела, повидимому, ручавшаяся за «*бунтарское*» настроение народной массы. Но, *поселившись* в деревне, он под влиянием опыта, а отчасти, пожалуй, и скуки, переходил к *количественной* стороне того же дела. У него возникал такой вопрос: сколько лет мне придется ждать бунта в моей деревне, принимая во внимание, что несколько десятков крестьянских волнений ежегодно приходится на несколько сот тысяч деревень? В ответ получалась довольно-таки большая цифра, погружавшая «*бунтаря*» в крайне грустные размышления. К этому присоединилось еще и вот что.

«Бунтарь» шел в народ с тем, чтобы поднимать его против *всякого вообще государства*, во имя свободной федерации свободных общин. Но на деле выходило, что *агитация*, поскольку она возможна была в деревне, сводилась к протесту против *нынешнего полицейско-сословного государства*. Проклинавший «*политику*» бунтарь на деле оказывался прежде всего *политическим агитатором*, хотя в деревне «*народные идеалы*» ставили даже и для такой агитации очень тесные пределы: в большинстве случаев крестьяне упорно связывали с *верой в царя* все свои надежды на лучшее будущее ¹⁾.

¹⁾ Потому-то так называемое *чигиринское дело* и осталось самым крупным проявлением революционной работы народников в крестьянской среде.

Прим. к русск. изд.

Но в деревне жизнь текла медленно; в городе впечатления сменялись несравненно быстрее. С тогдашней бунтарско-народнической точки зрения роль *города* в предстоящей революции была совершенно ничтожна. Бунтовать надо было *народ*, а народ, — настоящий, неиспорченный цивилизацией народ—можно было найти только в деревне. Но жившим в деревнях «*бунтарям*» нужны были паспорта, деньги, адреса, связи, новые, свежие революционные силы. Поэтому многие из их товарищей оставались в городах, где только и можно было найти средства для удовлетворения всех этих многообразных потребностей. Занятые преимущественно делами *организации*, остававшиеся в городах «*бунтари*» и там не упускали, однако, случаев предаться *святому делу бунта*. А в городах, особенно в Петербурге, таких случаев было тогда не мало. Уже одни политические процессы давали прекрасные поводы для агитации. К этому надо прибавить довольно крупные стачки рабочих, довольно громкие студенческие «*беспорядки*»... Начиная с весны 1876 г. в Петербурге происходит ряд демонстраций, которые доходят до своего апогея весной 1878 г., во время *процесса В. И. Засулич*. Страсти все более и более разгораются; борьба становится все более и более ожесточенной. И здесь особенно заметно, что борьба ведется не с *государством* вообще, а с *полицейским* государством. *Лавристы* не переставали кричать, что бунтари, забыв о *социализме*, борются лишь за *политическую свободу*. «Бунтари» и сами чувствовали, что их *агитационная деятельность* плохо вяжется с их «*социализмом*», но верный революционный инстинкт неудержимо толкал их вперед, и они, очень слабо и неудачно защищая свою агитацию *в теории*, очень ловко и настойчиво занимались ею *на практике*.

Борьба велась главным образом силами «*интеллигенции*». Рабочее население столицы только еще начинало тогда входит во вкус «*неповиновения власти*», и как ни быстро прогрессировало оно в этом направлении, оно еще не оказывало *массовой* поддержки революционерам. Так называемое общество, втайне сочувствуя революционерам, ясно видело, что сила еще не на их стороне, и потому не вмешивалось в открытые столкновения их с правительством. Таким образом, в случаях подобных столкновений, революционная интеллигенция была почти целиком предоставлена своим собственным силам. Этих сил было слишком мало *не только для по-*

беды, но даже для сколько-нибудь *серьезного сопротивления в открытом бою*. Но во второй половине семидесятых годов борьба разгорелась уже так сильно, что необходимо должна была дойти до своего логического конца. Следовательно, надо было найти для нее *новые приемы*. Эти приемы даны были в *терроре*, который уже практиковался тогда под названием *дезорганизации правительства*. Террор позволял наносить правительству сильные удары, несмотря на очевидное, страшное превосходство его сил над силами революционеров. Этого было достаточно для того, чтобы привлечь к нему все симпатии революционеров. «Бунтарская» деятельность в народе незаметно отошла на второй план, жившие в деревнях «бунтари» с отчаянием увидели, что приток к ним новых сил совершенно прекращается. Они, восхищавшиеся прежде каждым удачным террористическим действием своих городских товарищей, *стали решительно и страстно отрицать террор*. Обыкновенно история этих разногласий изображается в том виде, что народники старого направления стояли за какую-то мирную деятельность, а террористы стремились к революции. В действительности спор шел о том, продолжать ли *революционные — «бунтарские»* — попытки в народе, или, *махнув рукой на народ*, ограничить революционное дело *единоборством интеллигенции с правительством*. Спор этот должен был решиться на Воронежском съезде летом 1879 года.

Мы видели, что бунтарская деятельность в деревне оказалась далеко не такой легкой задачей, какой считали ее бунтари, заводя свои «поселения». Становилось ясно, что широкий крестьянский «бунт» мог быть делом разве лишь очень далекого будущего, между тем как «террор» сулил близкую победу. Весы не могли не склониться в пользу террора.

На Воронежском съезде оппозиция «деревенщиков» привела лишь к тому, что общество «Земля и Воля», возникшее за несколько лет перед тем с *исключительной целью* агитации в народе, согласилось *поддерживать* бунтарские «поселения», посвящая им *одну треть своих средств*. И все понимали тогда, что это только временная уступка со стороны «террористов», что их деятельность, в конце концов, поглотит даже и те средства, которые они согласились предоставить в распоряжение «бунтарей». Разрыв стал неизбежен. Но он ни мало не изменил естественного течения событий. Старое революционное народничество было осуждено

на смерть самою жизнью, попытка «*чернопередельцев*» привлечь к нему новые силы окончилась полнейшей неудачей. Даже та часть революционной молодежи, которая сочувствовала программе «*Черного Передела*», не покидала городов, и скоро одно за другим исчезли все или почти все «бунтарские» «поселения в народе».

Сосредоточить все силы на «терроре» значило направить их целиком на борьбу за *ту политическую свободу*, которую предавал анафеме каждый правоверный бакунист и народник. На практике партия «*Народной Воли*» была поэтому полным отрицанием бакунизма и народничества. Но *теоретически* она была как нельзя более далека от полного разрыва с ними. Она еще твердо держалась завещанного утопическим социализмом противопоставления «*социализма*» «*политике*». Ее социалистическая совесть не могла оправдать ее исключительное занятие *политической борьбой*. Еще громче, чем социалистическая совесть возбужденной и увлеченной борьбой «*Партии Народной Воли*», роптала окружающая ее, как атмосфера, но не принадлежащая к ее организации масса революционной интеллигенции. Противоположение социализма политике становилось тормозом движения. Устранить этот тормоз помогла *теория захвата власти*. Народовольцы стали рассуждать так: если бы наша борьба привела *только* к торжеству политической свободы, то это, действительно, могло бы быть вредно для народа, так как за политическим освобождением последовало бы усиленное развитие капитализма, а следовательно и усиленное разложение старых экономических основ крестьянского быта. Но если мы, социалисты, в искренности которых нельзя сомневаться, сумеем, повалив абсолютизм, захватить власть в свои руки, то восторжествует уже не *капитализм*, а *социализм*, и народ бесконечно много выиграет от нашего успеха. Осуществление нашей социалистической программы будет для нас тем легче, что в России очень слабо развит капитализм, что в ней очень прочна община, очень крепки народные идеалы, и что вообще она *не-Запад*¹⁾. Таким образом, то самое теоретическое затруднение, которое, казалось бы, должно было заставить русских революционеров подвергнуть критическому пересмотру все основы «рус-

¹⁾ Для примера см. статью Л. Тихомирова: «*Чего нам ждать от революции?*» во второй книжке «*Вестника Народной Воли*».

ского», отрицавшего политику социализма, на первых порах привело лишь к укреплению и без того сильных в нем элементов *славянофильства*. Покойный Тихомиров был уже настоящим славянофилом, хотя и не анархического, как Бакунин, а якобинского толка. С появлением «Партии Народной Воли» вообще восторжествовало у нас остававшееся до сих пор чрезвычайно слабым *якобинское направление Ткачева*. Но не нужно забывать, что Ткачев совершенно разделял общие взгляды Бакунина на русскую народную жизнь, расходясь с ним лишь по вопросам о приемах революционной борьбы и о значении «государства». Поэтому *якобинский дух «Партии Народной Воли»* вовсе не обозначал собою полного разрыва с бакунизмом.

«Террор» явился у нас естественным плодом *слабости сил* революционной партии, пытавшейся, несмотря на эту слабость, нанести окончательный удар правительству. Та же самая причина обусловила собою и неудачу террористической борьбы. После 1 марта 1881 года «Партия Народной Воли» быстро клонится к упадку. В конце первой половины 80-х годов *организованное* революционное движение перестало существовать в России. *Его цикл был закончен*. Революционная интеллигенция обнаружила геройское самоотвержение; она совершила блестящие подвиги, но ее силы были окончательно истощены, между тем как реакция росла и крепла.

Наступившее затишье было благоприятно для русской революции, по крайней мере, в одном отношении: оно давало уцелевшим от погрома революционерам повод и время подвергнуть критическому обзору всю предыдущую историю их движения. Когда все приходилось начинать заново, ничто не могло помешать обновлению наших революционных теорий. Всякий революционер, не принеся своей «критической мысли» в жертву «великим теням», невольно спрашивал себя, — что такое собственно был тот «социализм», под знаменем которого совершалась до сих пор наша борьба? При некотором знакомстве с западно-европейской социалистической литературой легко было увидеть, что во всех своих видах и разновидностях представлял он собою самую плоскую переработку утопического социализма. А раз была обнаружена его *теоретическая несостоятельность*, нетрудно было понять, в чем заключается источник его *практической слабости*.

Как мы видели, наша «интеллигенция» уже с начала шестидесятих годов хорошо сознавала, что ей надо искать поддержки в «народе». В восьмидесятих годах, когда опыт так явственно подтвердил ей, что она своими собственными силами не одолеет царизма, «народ» должен был явиться в ее глазах еще более желанным союзником. Но прежде *интеллигенция* смотрела на «народ» через *славянофильскую* призму. Теперь тот же опыт — неудача народнических революционных усилий — заставлял подозревать, что эта призма искажает истинные образы предметов. Считавшийся окончанным спор славянофилов с западниками оживал в новом виде.

«Народные идеалы» (оставляя в стороне вопрос о том, насколько правильно *народническое* представление о них) ни в каком случае не могут служить показателем *будущего* общественного развития страны. «Идеалы» всякого народа возникают на реальной общественной основе. С исчезновением этой основы они продолжают еще существовать некоторое время по закону инерции, чтобы исчезнуть затем в свою очередь, уступив место новым идеалам, вырастающим на почве новых условий. «Углубиться» в «историческое сознание» народа всегда полезно; но еще полезнее для революционной партии «углубиться» в изучение *экономики* той страны, где она действует. Да и этого мало. Не довольствуясь констатированием *существующих* отношений, она должна определить направление их *развития*, понять смысл того, что *возникает*. Сила исторической философии Маркса, которая в восьмидесятих годах была уже общепризнанной основой западно-европейского социализма, и с которой, следовательно, нам прежде всего надо было справляться, заключается именно в том, что она рассматривает все общественные явления с точки зрения их развития, с точки зрения их возникновения и уничтожения. Марксизм никогда не искал в застое основы ни для революционных ожиданий в будущем, ни для практических революционных действий в настоящем. С точки зрения марксизма ясно было, что не экономический застой, охраняющий старые формы жизни, а экономическое *движение*, расшатывающее историческую основу царизма, подготовит у нас торжество революционной партии. В применении к «народу» это означало, что решающая прогрессивная роль в дальнейшем развитии России будет принадлежать не тем слоям ее населения,

которые живут при старых, постепенно исчезающих условиях, а тем, которые возникают, растут и усиливаются вследствие современного нам экономического развития. Естественным, ближайшим союзником революционеров оказывался поэтому не ветхозаветный *крестьянин*, а современный *пролетарий*. Не сразу освоился с этим выводом «русский социалист», которому двадцатилетняя привычка мешала видеть в пролетариате что-либо, кроме пассивного продукта исторической «буржуазной цивилизации». Та же привычка заставляла его преувеличивать экономическую самобытность России. Даже перестав видеть в нашей экономической отсталости надежнейший залог своего успеха, он все-таки не без труда мог освоиться с той мыслью, что история, без его ведома и вопреки как его собственным, так и «народным идеалам», уже создала новую революционную силу. Но факты говорили сами за себя. Все исследователи русской жизни сходились между собою в том, что внутреннее разложение общины идет вперед с постоянно возрастающим ускорением, что в завещанном нам историей крестьянском *сословии* быстро образуются два новых класса—буржуазия и пролетариат; что капитализм торжествует по всей линии. Правда, почти каждый исследователь был при этом убежден, что дело можно еще поправить, и предлагал свою утопию с более или менее ясно выраженным гомеопатическим характером. Но мы уже знали цену утопиям.

Неожиданный для нас самих вывод относительно революционного значения русского пролетариата как нельзя более подтверждался *историей нашего движения*. «Бунтари»-народники никогда не задавались, да и не могли задаваться целью систематического воздействия на промышленный пролетариат; единственное, что они могли сказать ему, сводилось к очень мало утешительному и вовсе непоучительному выводу: ты — испорченное цивилизацией дитя русского народа; и лучше было бы, если бы тебя совсем не существовало. Само собою понятно, что столь печальный вывод никак не мог содействовать политическому развитию русского рабочего класса. Но — такова сила вещей! — его сознание *все-таки развивалось*. Рабочая масса уже в в половине 70-х годов приходила к тому убеждению, что студенты (так называл, — да вероятно и теперь называет, — народ революционеров), борясь с правительством, отстаивают самые насущные народные интересы. А что

касается *передовых представителей* этой массы, то они в лице «Северно-Русского Рабочего Союза» раньше *интеллигенции* поняли нелепость противоположения политики социализму ¹⁾.

Обезнародьте народ, рассуждал в 60-х годах славянофил И. С. Аксаков, и наши теории окажутся лишенными всякой реальной основы; у нас явится почва для революционных движений, подобных западно-европейским. И. С. Аксаков прав, хотя в качестве русского «интеллигента» 40-х годов он был лишен всякого экономического образования, а поэтому даже и не подозревал, откуда может взяться влияние, способное «*обезнародить народ*», идеализованный славянофилами.

Русское правительство вынуждено было продолжать начатый Петром процесс европеизации, хотя само оно, конечно, ни мало не думало при этом о прогрессивном воздействии на русский народ. Оно повиновалось всемогущей исторической необходимости, но мало-по-малу европеизация коснулась самых глубоких оснований русской народной жизни, перестроила всю экономику России, и необходимым следствием этого явилось враждебное правительству освободительное *течение снизу*. Старый спор славянофилов с западниками, начавшийся на философской почве, решался политической экономией.

Раз обращено было революционерами внимание на это решение, восстанавливалась логическая нить развития русской революционной мысли, порванная проникновением в Россию теории утопического социализма. Еще Белинский с восторгом приветствовал появление «*Deutsch-Französische Jahrbücher*» Маркса и Руге. А теперь мы, русские социал-демократы, считаем распространение в России взглядов Маркса важнейшей задачей нашей пропаганды.

Итак, наша новая точка зрения делала решительно невозможным для нас страх перед успехами русского *капитализма*, совершенно немислимым сомнение относительно пользы *политической свободы*. Противопоставление социализма «политике», очень вредное на практике, оказывалось нелепым и в теории, так как *всякая классовая борьба есть политическая*. Народовольческая фикция захвата власти социалистами-заговорщиками становилась

¹⁾ См. об этом в моей брошюре: «Русский рабочий в революционном движении».

излишней, потому что само собою падало то затруднение, ввиду которого она была придумана. Она уступала место сознанию необходимости воспитать пролетариат для его будущего господства. Наконец, изменялся взгляд и на террор. Когда борьба велась силами одной интеллигенции, он сделался безусловно неизбежным, как только борьба достигла значительной степени напряженности. Но когда расширится русло русского революционного движения, он приобретает условное, относительное значение приема, который может быть полезен, а может быть и вреден, смотря по положению дел партии в данное время.

Взгляды русских социал-демократов на первых порах вызвали против себя целую бурю. Но постепенно волнение улеглось, и теперь, после десятилетней литературной деятельности, мы можем сказать, что в теоретическом отношении наша цель почти достигнута: возврат к старым революционным теориям теперь уже совершенно невозможен, и каждая, даже самая враждебная нам группа русских революционеров, на три четверти усвоила себе наши идеи. Если многие до сих пор еще *не совсем* соглашаются с нами, то это происходит потому, что, к сожалению, многие еще *не вполне нас понимают*.

Во-первых, нашего «интеллигента» все еще продолжает смущать призрак неподвижности русских экономических отношений. Он все еще нередко продолжает сомневаться в применимости к нам марксизма на том основании, что у нас *«мало рабочих»*. Но эти сомнения являются последними, предсмертными судорогами старого, утопического мирозерцания. Вырвав корень этого мирозерцания, мы, конечно, скоро приведем наших товарищей к убеждению в том, что если у нас *«мало рабочих»*, то из этого еще не следует, что у нас должно быть *много утопических предрассудков*. Уже близко то время, когда марксизм станет единственным критерием наших революционных программ и учений.

Во-вторых, и именно в силу правила: *«возмещай недостаток рабочих обилием предрассудков»*, наши взгляды часто истолковываются в том смысле, что мы, стремясь иметь дело с рабочими, не хотим ничего знать, кроме рабочих. Покойный Пржевальский рассказывал в одном из своих путешествий, что он и его товарищи заводили больших собак, отгонявших от их стоянок туземцев. Нас понимают иногда в том смысле, что мы не прочь подражать

Пржевальскому, чтобы отогнать от себя все слои русского населения, кроме пролетариата. Но если бы кто-нибудь из русских социал-демократов и заслужил подобный упрек, то это показывало бы только, что он не понимает того самого учения, под знамя которого становится. Учение Маркса должно и будет служить нам не для того, чтобы отталкивать от себя недовольные элементы русского населения, но для того, чтобы уметь привлекать их и воздействовать на них, не смущаясь никакими предрассудками. Как показано выше, уже бунтари-народники вынуждены были вести политическую борьбу, хотя и считали политическую свободу вредной буржуазной выдумкой. Мы будем вести ту же борьбу, хорошо сознавая значение политических прав в деле освобождения рабочих. «Партия Народной Воли» сосредоточила все свои силы на борьбе с царской властью, извиняясь перед «социализмом» с помощью *фикций*. Мы будем продолжать ее великое дело, но мы не будем нуждаться в фикциях: для нас не существует противоположения *социализма политике*, бунтари отрицали ее во имя *«агитации»*. Мы будем заниматься и тем и другим, так как никакая агитация *немыслима* без пропаганды и всякая пропаганда *бессмысленна*, если она не приводит к агитации, *ко влиянию на массу*.

Революционное затишье, наступившее в России после 1 марта 1881 года, многим казалось странным, почти необъяснимым. Но в сущности причины его совершенно ясны. Движение семидесятых годов было, как я сказал, преимущественно движением «интеллигенции», иначе разночинцев, этого первого общественного слоя, всколыхнувшегося под влиянием глубокого социального переворота, пережитого Россией в предшествовавшее десятилетие. Силы этого слоя были окончательно истощены в такое время, когда другие, более сильные слои еще не могли взять его дело в свои руки. Рабочий класс еще только *созревал* для революционной борьбы, а террор скорее замедлил, чем ускорил процесс его созревания. Буржуазия в ее целом имела не мало причин быть недовольной правительством, но гораздо более многочисленные и гораздо более важные причины заставляли ее *«обожать монарха»*. Реформы Александра II дали ей множество способов легкой и верной наживы. Они впервые сделали ее влиятельным общественным классом. Из официальных данных видно, что русские предприниматели полу-

чают, говоря вообще, огромную прибыль на свои капиталы. Правительство, которое создает, поддерживает и умножает условия для столь быстрого роста капитала, не может не казаться капиталистам почти идеальным правительством. Вот почему наш «либерализм» увлекал до сих пор только людей «либеральных профессий»: преподавателей, журналистов, адвокатов и т. п. либералов по профессии. Эта часть буржуазии либеральничала в меру своих сил, т.-е. очень скромно. Остальная, наибольшая и несравненно более влиятельная часть ее видела в революционерах вреднейших врагов «порядка», т.-е. ее собственного баснословно-быстрого обогащения. Еще совсем недавно (22 мая старого стиля) министр финансов на торжественном заседании рыбинской биржи по случаю ее пятидесятилетия, провозгласив тост за *русское купечество*, сказал, что «исторический» опыт показывает, и сам он проникнут тем убеждением, что торговое сословие составляет надежный оплот престолу и отечеству, и что, без сомнения, и впредь будет так, и «*всегда во веки веков*» (это подлинные слова г. министра). Но известно, что, когда официальные лица рассуждают об истории, они видят только ее заднюю часть. Г. министр позабыл спросить себя, на чем основывается его вера в будущий, вековечный союз «русского купечества» с монархией. Купеческая мошна — ненадежный союзник. Она поддерживает лишь тех, от кого ожидает выгод, и только до тех пор, пока ожидает выгод. Она не знает благодарности. Русский абсолютизм в последние два царствования ревностно служил буржуазии. Но чем более усердствовал он в этом отношении, тем более подрывал он свои средства служить ей в будущем. Ее баснословно быстрое обогащение покупалось ценою столь же быстрого обнищания крестьянства. Дело дошло, наконец, до того, что земледельческое население оказалось осужденным на хронический голод. Но хронический голод в стране, где фабрично-заводское производство рассчитано преимущественно на внутренний рынок, грозит банкротством самой буржуазии. Уже по одному этому ее преданность и престолу и отечеству (т.-е., на официальном языке, тому же престолу) подвергается сильному испытанию; но это далеко не все. Разорив мужика, правительство вынуждено будет обратиться за деньгами к той самой буржуазии, которая умела только получать их из государственного казначейства в виде всевозможных «субсидий». Подобного испытания купеческая мошна

не выдержит, и мы, вопреки уверенности г. министра финансов, можем высказать свою уверенность в том, что приближается время разрыва «русского купечества» со *всероссийским деспотизмом*.

Наша буржуазия еще очень плохо воспитана в политическом отношении. Пока будет совершаться ее политическое воспитание, ее передовые элементы, ее «идеологи» по необходимости будут подпадать под влияние более зрелых элементов революционной «интеллигенции». Кто понимает важность одного этого обстоятельства для нашего социалистического движения, тот не скажет, что мы можем не обращать внимания на буржуазию.

Но важнее этого другое, только что высказанное мною соображение. Пока мы «углублялись в историческое сознание русского народа», окончательно исчезла та экономическая почва, на которой оно выросло. Дело тут не в том, что народ беднел все более и более, как ни важно само по себе это явление. Дело в том, что количественные изменения в положении земледельца, непрерывно накапливаясь, привели к глубокому качественному его изменению. Теперь русский земледелец совсем не тот идеализированный крестьянин, с которым собирались иметь дело революционеры-народники 70-х годов. Совершенно выбитый из своего старого, веками завещанного крестьянского обихода, он поневоле приходит в движение и поневоле начинает расшатывать здание абсолютизма, прочно покоившееся на его широкой спине в течение целых столетий. Вот почему было бы величайшей нелепостью, невероятнейшим доктринерством думать, что русские социал-демократы не должны воздействовать на крестьянство. Совершенно наоборот. Мы обязаны воздействовать на крестьянство, мы обязаны употребить все усилия, чтобы внести в его среду революционное сознание, заботясь только о том, чтобы крестьянство перестало воздействовать на нас, т.-е., чтобы воспоминание об его «историческом сознании» не поддерживало «интеллигентской» склонности к утопиям. В этом смысле мы и говорим, что, воздействуя на крестьянство, интеллигенция должна твердо держаться точки зрения пролетариата. А кому ясен этот смысл наших слов, тот понимает, что «много» или «мало» у нас «рабочих», но правильная оценка современных наших общественных отношений может быть дана только современным научным социализмом, и что дело не в числе рабочих,

существующих в данное время, а в общем направлении нашего экономического развития ¹⁾).

В России есть люди, уже ставшие на точку зрения научного социализма, но еще не решающиеся признать себя *социал-демократами*. Это происходит потому, что нам приписывают стремление ввести у нас *тактику* немецких социал-демократов. Само собою понятно, что мы были бы сумасшедшими, если бы помышляли о чем-нибудь подобном. Мы назвали себя *социал-демократами* не потому, что хотели обезьянить немцев, а потому, что, по нашему мнению, русским революционерам следовало перестать *обезьянить Бакунина*, считавшего социал-демократию воплощением *реакции*. Мы убеждены, что этот предрассудок должен быть уничтожен в интересах русского рабочего класса, который даже по легальным изданиям может отчасти следить за огромными успехами пролетариата соседней страны. Каждая победа немецких социал-демократов должна напоминать русскому рабочему, что по обе стороны границы борьба ведется, несмотря на различие местных условий, за торжество того же самого принципа. Этого, разумеется, не достигнете *одним названием*: к этому должна вести *вся наша деятельность*; но этому не должно и мешать различие партийных названий, способное лишь сбивать с толку людей, не совсем подготовленных.

Мы будем... Но мне могут заметить, что если кому-нибудь интересны мои *взгляды*, то ни для кого не убедительны мои ручательства за *будущее*, и что поэтому мне следует говорить: *мы должны, а не мы будем*. Я согласен признать справедливость подобного замечания и говорю: *мы должны* поступать вышеуказанным образом под страхом революционного *вырождения*, под страхом превращения в секту, *замечательную только своим бесплодием*, в доктринеров вроде блаженной памяти лавристов...

В вашем письме вы спрашиваете меня, товарищи, какова организация русских социал-демократов. Я не хочу вводить вас в заблуждение: беседуя с вами, я считаю своею святою обязанностью, по выражению Лассалья, *aussprechen was ist*, и потому я

¹⁾ Уже в «*Наших Разногласиях*» я показал, до какой степени неосновательны расчеты, приводящие к выводу: у нас мало рабочих. Но, повторяю, каково бы ни было число их в настоящее время, из него никак нельзя вывести нашего права на предрассудки.

ответчу вам, что со стороны организации наше положение оставляет желать очень и очень многого. В России вообще, а не только между социал-демократами, пока еще нет сильной революционной организации. Остается говорить лишь о наших *пожеланиях* на этот счет. А пожелания наши сводятся к созданию подвижной боевой организации, вроде общества «*Земля и Воля*» или «*Партия Народной Воли*», организации, являющейся *всюду, где можно нанести удар правительству, поддерживающей всякое революционное движение против существующего порядка вещей, и в то же время ни на минуту не упускающей из виду будущности нашего движения*. Скоро ли нам удастся осуществить такой идеал? — Не знаем. Но то несомненно, что мы тем скорее придем к его осуществлению, чем скорее и полнее усвоят наши революционеры принципы *научного социализма*.

Нынешнее положение России как нельзя более революционно. Помешать успешному действию революционеров могли бы разве лишь два врага: не совсем еще исчезнувшие старые предрассудки, или плохое, *узкое понимание новой программы*. Справившись с этими врагами, революционная партия может не бояться за свое будущее. Все объективные условия ее успеха находятся налицо, а в субъективном отношении ей нужны будут тогда только три вещи: *de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace!*

Г. Плеханов.

Май 1893 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стран.
Предисловие автора	3
<i>Лев Дейч.</i> Мое знакомство с профессором Альфонсом Туном	6
<i>Г. Плеханов.</i> Предисловие к русскому изданию	20
I. Взгляд на революционное движение до 1863 года	68
II. Затишье в революционном движении (1863 г. — 1872 г.)	82
III. Литература социалистической пропаганды	93
IV. Практика и результаты пропаганды (1872 — 1875)	104
V. Революционная агитация (1875 — 1877)	126
VI. Переход к террору (1878 и 1879)	148
VII. Террор (с 1879 года)	173
VIII. Партия черного передела	194
IX. Биографии и внутренняя организация	208
Приложение I. <i>Г. Плеханов.</i> О социальной демократии в России	243
Приложение II. Некоторые примечания П. Л. Лаврова к польскому изданию А. Туна	270

